**Яранга дяди Вани**

Чукчи – самый известный северный народ России. Они прочно вошли в фольклор, но об их настоящей жизни знают немногие. Чтобы в ней разобраться, мы отправились в самую обычную бригаду чукотских оленеводов.

**Вершки и корешки**

Сперва был только свет. Земля и небо сияли, как чистый лист бумаги на солнце. В этой всепоглощающей белизне терялось чувство расстояния. Черные иероглифы на снегу могли оказаться кустами в пятидесяти метрах от «Бурана» или домиком на соседней, еще невидимой сопке. Водитель Борис привычно вел снегоход, стоя на коленях, но иногда привставал, оглядывался и по одному ему ведомым ориентирам находил дорогу. Путешествие к оленеводам в тундру воистину было переходом между мирами в бескрайней пустоте.

В канадские утепленные сапоги на ветру закрадывался предательский холод, и я невольно вспоминал напутствие Тагирыча, главы оленеводческого хозяйства.

– Мехотура есть? – коротко спросил он, почесывая темную бритую башку.

Внимательно выслушав мои объяснения про современные пуховки, флисовки и термобелье, большой начальник изрек:

– Какого ты года рождения? Хочу знать, что на памятнике выбить.

В ближайшие недели мне предстояло неоднократно убедиться, что спорить с северянами о зимней одежде так же бесполезно, как с итальянцами – о пицце, а с французами – об искусстве любви. Но в бригаду, тем не менее, Тагирыч меня отправил, проворчав одобрительно:

– Ты хотя бы высокий, не будешь за сугробы яйцами цепляться. Поедешь во вторую. Там опытные наставники. Деды! Молодежь-то больная, беззубая. Потому, что квашеную кровь не пьют. Раньше ее собирали в пыхпых – мешок из нерпичьей шкуры. Крошили туда прожаренные губы, копыта, и оставляли подольше. В этой крови вся таблица Менделеева!

Я понадеялся, что в «ароматном» чукотском лакомстве нет хотя бы урана из ближайших рудников, но вслух ничего не сказал.

С Тагирычем меня познакомила в Певеке Наталья, большой знаток чукчей.

– Хотите увидеть быт коренных народов? – щебетала она в трубку. – Мы их так и зовем – корешками. Люди простые, добродушные. На таких вся Россия держится…

Борис в очередной раз приподнялся и остановил «Буран» среди белой пустыни:

– Приехали!

В ответ на недоуменный взгляд он показал куда-то вбок, на чуть заметную серую полосу: «Олени!» Затем ткнул вперед: «Палатки!» Помочился, чтобы не пачкать стойбище, выкурил сигаретку и завел мотор. Через пять минут две крошечные черные запятые и вправду превратились в странные сооружения из шкур, откуда доносился собачий лай. Из левого вышел пожилой чукча в кухлянке, покрытой фиолетовыми леопардовыми пятнами, и коротко представился:

– Дядя Ваня.

**Дядя Ваня в леопардовой шкуре**

– Белых медведей мы видим редко, в миграцию. Идут они мимо нас, идут, идут… Снег и лед на лапы намерзли, а они все идут…

Далеко на горизонте ползут светящиеся точки – колонна грузовиков движется на месторождение золота «Купол». Белый медведь по-чукотски – «умкы», как медвежонок из мультфильма. Вот только молодые чукчи этого не знают. Десятки лет ассимиляции почти уничтожили их родной язык, а заодно и старый образ жизни. Из поколения в поколение детей оленеводов свозили на вертолетах в интернат, чтобы дать им обязательное среднее образование. Некоторых насильно отнимали от семьи. Как говорил северный сказитель, «Нас, словно оленей, загнали в один общий крааль». Передача опыта от старших к молодежи нарушалась, и многие чукчи оседали в поселках и городах, с их непыльной работой и доступной водкой.

– По-русски они вверх ногами говорят, криво. Инглиш знают, а чукотский – ни черта. Со стариками только и побеседуешь…

Снаружи минус сорок, а в палатке дяди Вани потрескивает печка. Возле нее лежат сборник сканвордов, книга и старый, еще советский ручной электрогенератор для радиостанции. Есть современный, но он давно сломался. На кожаной стене палатки – десятки крошечных заплат в местах, где шкуру оленя прогрызли личинки оводов. К потолку примотана настольная лампа. Она не работает – дизель включают редко, экономят топливо. Вместо нее дядя Ваня жжет свечи. В тепле он снял шкуру искусственного леопарда (дети прислали, не пропадать же добру) и оборотился крепким дедом в нижней кухлянке из отороченной мехом оленьей кожи, с ножом на поясе и в торбасах из камусов с подошвой из шкуры лахтака. Так мог выглядеть его предок сто лет назад.

Дядей хозяина палатки прозвали в юности, когда он был бригадиром комсомольской молодежной бригады. Старший – значит, дядя. Позже он оправдал прозвище, обзаведясь многочисленными племянниками. Бригада дяди Вани ставила рекорды. Чукчи уважительно повторяют, что к моменту распада СССР ему оставалось получить последний орден, и он стал бы полным кавалером. Что за орден и кавалером чего, никто не упомнит, да это и не важно. Какой прок от наград исчезнувшего государства! Дядя Ваня давно не бригадир и должен «отдыхать в деревне, на Канарах», но приехал в тундру на неделю, да так и остался – подменять нынешнего начальника Игоря: главный оленевод ушел в декретный отпуск. Летом проще – в тундру возвращаются на каникулы дети, нанимаются бомжи – из своих, чукотских – а зимой скакать через сугробы охота разве что косолапым всех видов и расцветок.

– Бурых медведей куда больше, чем белых. Но если их не тронуть, и они не тронут. Правда, года два назад появились злые, не наши. С длинными лапами. Нападали на людей. Игорек такого в стаде подранил. Утром пошел по следам, а медведь хитрый, крюк сделал и затаился. Хорошо, собака заметила. Еле успел его карабином свалить…

**Ужин при свечах**

Палатка дрожит от ветра, из прорезей врываются снег и клубы пара.

– Радио говорит, по Европе пурги прошлись. Италия и Греция крепко пострадали.

Обстановка у дяди Вани – суровая, мужская. Из еды – только оленьи ребрышки. Ужинать мы идем к соседям, в семейство Юры и Веры. Там – картошка с мясом, конфеты и, конечно, застольные разговоры. Вера – оленевод третьего разряда, как и все женщины в тундре. Молодым пастухам-мужчинам сразу присваивают четвертый разряд, опытным – повышают до пятого. Зато женщинам дополнительно платят за выделку шкур и шитье мехотуры.

– Чай изо льда вкуснее, но не успели набрать, – извиняется дядя Ваня, ставя на печку бидон, набитый снегом. Оленеводы разливают в чашки заварку из латунного чайника, мне же, как дорогому гостю, кидают дефицитный пакетик «Липтона» – такая же удивительная манера встречается у китайцев.

– Зимой здесь нелегко, да и летом не проще. Материковый комар – культурный, а наш – как истребитель. Не ощупывает, а слету втыкается.

От старого быта у оленеводов остались, пожалуй, лишь нижняя одежда, торбаса да сами олени. Животных не режут, а стреляют из допотопного ружьишка, потому как арканов нет, да и мастера их кидать почти перевелись. Ярангу ставят только летом, для зимы лучше теплая палатка. Даже кочуют чукчи на вездеходе или на «Буранах»:

– Одного ездового оленя убили, другого волки затравили, не осталось ни правого, ни левого, ездим на металлоломе, – нараспев говорит Вера. – Сын Игорь пробовал в прошлом году упряжку собрать, так олени чуть ему руки не сломали. Перевернули нарты и убежали.

Пока мы беседуем, полуторатысячное стадо сторожит Сергей – самый младший из дежурных. Он сидит в крохотной передвижной будке на полозьях и наблюдает, чтобы олени не разбрелись. Опасностей всегда хватает – вороны, выклевывающие глаза детенышам, хищные звери и даже дикие олени. «Дикари» способны увлечь с собой целые стада. Многие чукчи убеждены в расчетливости рогатых – у домашних оленей ноги короче, и они первыми попадают в зубы волка и медведя, помогая остальным выжить. Порой бывает и наоборот – дикие олени прибиваются к стаду, переживают в нем голодное время, а потом убегают. Оленеводы к таким халявщикам относятся спокойно. К тому же, после них остается красивое потомство. Для метисов и оленей с четвертью дикой крови в чукотском языке отдельные слова – рытакав и светейкын.

По-старому кочуют только в двух бригадах – третьей и девятой. Последней командует знаменитый Вуквукай – хранитель традиций, к которому возят иностранных туристов и этнографов. Про него сняли уже несколько фильмов.

– У Вуквукая в палатке каменные амулеты, куклы и икона, – рассказывает Вера. – На Кильвей, праздник рождения теленка, оленью ногу вычищаешь от жилы и кормишь кукол костным мозгом. Прямо в ротик. Больше такого нигде нет. Наш дядя Ваня – коммунист, а в остальных бригадах – либо неверующие, либо баптисты…

Ночью над палатками мерцает северное сияние – нежные бесцветные лепестки, совсем непохожие на красивые фотографии этого явления. Печка догорает. Дядя Ваня убирает палку, держащую открытым вход в палатку, и привязывает в тамбуре собак. Взлохмачивает ножом стружку на полене для утреннего розжига, вынимает распорки из прорезей в крыше и залезает в кукуль, оставляя гореть единственную свечу. Со светом теплее.

Вскоре дыхание превращается в пар. В колеблющихся тенях подвешенные на притолоке кожаные чижи и ремешки кажутся вуквукаевыми «куклами» – спутанными связками дырявых камней и раздвоенных веток, напоминающих человечков, по одной на каждого члена рода. Если идолов двух кланов повесить рядом, жди беды, а если их понюхает собака, на стадо нападут волки…

Среди ночи я просыпаюсь от стука в полог. Псы заливаются лаем. Когда он смолкает, снаружи явственно доносятся массивные, человечьи шаги по хрусткому снегу. Когда лежишь на земле, кажется, что они отдаются прямо в животе.

– Черный пес отвязался, – поясняет прожженный материалист дядя Ваня, и засыпает снова.

Наутро мы провожаем в поселок Веру. У нее плеврит, надо показаться врачу. Круглолицый, черный от снежного загара чукча подъезжает на «Буране» к стаду и тормозит с залихватским разворотом:

– Кто заказывал такси на Дубровку?

Дядя Ваня грузит освежеванную оленью тушу. Кровь сливают в желудок, чтобы отдать собакам – пыхпых больше не в ходу, да и кровяную кашу давно не варили, картошка вкуснее. Вера сидит на нартах грузно, похожая на древнего божка. Она пытается докурить сигарету, но ей мешает кашель. Щуплый Юра часто моргает и, стоя на коленях перед женой, застегивает ей пуговицы на старенькой спецовке поверх кухлянки.

**Рыткучи**

Чукотский поселок Рыткучи – череда двухэтажных домов, в подъездах которых порой ютятся собаки. Рядом – маленький, но живой музей, электрическая котельная и современная школа с роскошным спортзалом. По улицам даже в лютый мороз колесят дети на велосипедах и шляются пьяные. В кранах – только горячая вода, в единственном магазине – часовая очередь. На горизонте по кромке моря величественно проплывают фуры, но в поселок заезжают разве что скупщики рыбы.

Я живу в Рыткучи у молодого ветеринара. На крохотной полке над столом – пиала с баурсаками для духов предков, на плите – обрядовый шулюм. Все потому, что он – калмык. Поселковые чукчи традиции своего народа почти забыли. С каждым годом калмыков здесь все больше. Они работают и мало пьют.

С алкоголизмом у чукчей пытались бороться многие. Получилось только у «Красного креста», собравшего небольшую группу завязавших пьяниц, да у баптистов, съезжающихся на Север отовсюду, от Брянска до Аляски. Поэтому даже многие неверующие относятся к ним хорошо. Ответственность за спаивание чукчей большинство перекладывает на американцев. Те уже сотни лет назад обменивали драгоценную пушнину на огненную воду. Торговля шла бойко. Но приживутся ли на вечной мерзлоте более полезные семена цивилизации? Не превратятся ли в сорняки, заглушающие местную культуру?

– Дети оленеводов русскую литературу понимают легко. И современное общество, и дворянское. Сложнее всего объяснить им, что такое лес. Или черемуха.

Директор школы Алевтина Беляева приехала в Рыткучи из Йошкар-Олы. Собираясь, бросила на дно сумки спички – готовилась к худшему. Реальность оказалась не такой уж суровой. Пускай приходится трудиться разом за учителя, юриста и бухгалтера, вставать рано и уходить с работы в 10 вечера. Зато здесь несуетно и привычно:

– Дочь адаптировалась трудно, но теперь учится на материке и скучает по Рыткучи. Надоела слякоть, говорит. Мама, я хочу в мороз, домой. Чукчи тоже уезжают за высшим образованием, но не приживаются. Там жизнь быстрая, бурлит. Я сама это замечаю, хотя материковая. Мой дом – здесь. Поначалу на нас ворчали, что мы понаехавшие, а я отвечала: «Чукотка – тоже моя родина, я – в России».

Между наукой тундры и обязательным образованием ищут хоть и болезненный, но компромисс. Говорят, даже суровый Вуквукай больше не ругает школу: в начале осени, когда у оленеводов горячие деньки, детей не забирают из бригады. Вертолет прилетает в конце сентября, а программу наверстывают за счет индивидуальной работы. Вот только сами школьники, привыкшие к интернатскому житью, горячей воде и интернету, в тундру не рвутся. Дочь самого Вуквукая, Наталья, живет в Певеке – это она познакомила меня с «корешками». Чукотский язык преподают чукчам как второй иностранный, после английского. Хороших учебников нет.

– Иногда родители мне говорят, что их детям чукотский не нужен, – вздыхает Алевтина. –Стало быть, отвечаю, вы и от льгот коренным малочисленным народам должны отказаться. Ни квот, ни лекарств бесплатных. Тогда они задумываются.

После революции молодая советская власть давала чукчам вторые, русские имена. Чаще всего они становились Иванами. Сейчас мало у кого есть традиционное имя. Реликвии предков или в музеях, или сожжены последними хранителями, чтобы уберечь от осмеяния потомками. Ассимиляция – не однозначно плохое явление, русская культура ничем не хуже чукотской. Но для таких новоиспеченных русских, отвыкших от тундры и не освоившихся на «материке», велика опасность стать уже не дядей Ваней, а Иванами, родства не помнящими. Тогда через пару десятков лет оленеводы забудутся так же, как легендарные чукотские воины, которые побеждали хорошо вооруженных русских и «сражались чем угодно – луком, копьем, годовалой важенкой, а зимой и мерзлой тушей оленя». Останутся лишь герои анекдотов да наивный чукча в ожидании рассвета, которого изображал нанайский певец Кола Бельды.

На улице поселка меня схватила за локоть чукчанка неопределенного возраста – то ли пьяная, то ли трезвая, облаченная в немыслимую мешанину советских, современных и чукотских вещей.

– Помоги! – крикнула она.

Я едва не отдернул руку, но сдержался, и она обрушила на меня долгий перечень бед – безденежье, болезни, пьющие дети...

– Чем тебе помочь? – спросил я в постыдной тоске, неизбежной при разговоре с нищими.

Она серьезно посмотрела мне в глаза. Прошептала:

­– Молись за меня…

И больше – ни слова.